

Дж. Р. Р. Толкину

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Письма Баламута» появились во время Второй мировой войны, в исчезнувшей теперь «Манчестер гардиан». Надеюсь, они не ускорили ее смерть, но одного читателя газету лишили. Какой-то сельский житель написал редактору, что просит вернуть подписку, ибо «почти во всех этих советах есть не только что-то неправильное, но и что-то просто бесовское».

Вообще же их приняли гораздо лучше, чем я думал. Рецензенты хвалили меня или бранили тем тоном, по которому автор узнает, что в цель он попал. Расходились они в невероятном (для меня) количестве, и спрос не спадал.

Конечно, это далеко не всегда значит именно то, чего бы автор хотел. Если бы вы судили о приверженности к Библии по ее спросу, вы бы ошиблись. Примерно то же, в крохотном

масштабе, *случилось* с «Баламутом». Такую книгу дарят крестникам, и я заметил даже, сдерживая улыбку, что она уплывает в комнаты для гостей, чтобы жить там тихо и мирно рядом с «Жизнью пчел». Иногда ее покупают в еще более низменных целях. Одна моя знакомая увидела, что молоденькая практикантка, которая дала ей грелку в больнице, читает «Баламута», и выяснила почему.

— Понимаете, — сказала девица, — нас предупредили, что на экзамене после медицинских вопросов могут спросить, чем мы интересуемся. Лучше всего назвать разные книги. Нам дали список, штук десять самых ходких, и велели прочитать хоть одну.

— И вы выбрали эту?

— Ну да. Она самая короткая.

Но и настоящих читателей было вполне достаточно, чтобы сейчас ответить на возможные вопросы. Самый обычный — действительно ли я «верю в дьявола».

Если дьяволом вы называете некую злую силу, самодовлеющую извечно, как Бог, я, безусловно, отвечаю: «Нет, не верю». Кроме Бога, нет ничего и никого несотворенного. Никто

не может достигнуть «совершенной плохости», противоположной совершенной благодати Божией; ведь когда мы отнимем все хорошее — разум, память, волю, силу, само бытие, — просто ничего не останется.

Правильно было бы спросить, верю ли я в бесов. Верю. Иначе говоря, я верю в ангелов и верю, что некоторые из них, злоупотребив свободной волей, стали врагами Богу, а там и людям. Вот их мы и зовем бесами. Природа у них точно та же, что у хороших ангелов, только она испорчена. «Бес» противоположен «ангелу» лишь в том смысле, в каком «плохой человек» противоположен «человеку хорошему». Сатана, их вождь и диктатор, противоположен не Богу, но архистратигу Михаилу.

Что же до веры в них, я не сказал бы, что «это мой символ веры». Скорее, это мое мнение.

Я верил бы в Бога, даже если бы оказалось, что никаких бесов нет. Пока же ничего такого не доказали и вряд ли докажут, я думаю, что они есть. Мне кажется, так легче понять и объяснить много разных вещей — это согласуется с явным смыслом Писания, и с Преда-

нием, и мнением почти всех людей, почти во все времена; и не противоречит ничему, что доказали науки.

Казалось бы, незачем прибавлять, что вера в ангелов — плохих ли, хороших — не имеет ничего общего с верой в их привычные изображения. Казалось бы — но, увы, не кажется. Бесов рисуют с крыльями летучей мыши, ангелов — с крыльями птичьими не потому, что хоть кто-нибудь убежден, будто нравственное зло обращает перья в перепонку, а потому, что люди любят птиц больше, чем нетопырей. У ангелов — крылья, чтобы хоть как-то выразить легкость и скорость свободной духовной силы. Ангелы — почти как люди, ибо мы не знаем разумных существ, кроме человека. Существ, стоящих выше нас в иерархии бытия, надо изображать символически, если изображать их вообще. Тут уж не важно, бесплотны они или у них есть тела, которые мы не можем представить.

Дело не только в том, что изображения — символические, но и в том, что разумные люди всегда это знали. Греки не думали, что боги — точно такие, как прекрасные мужчины и жен-

щины, которых ваяли скульпторы. Судя по их стихам, бог «является» смертным, уподобляясь на время человеку. Христианское богословие обычно объясняло так и «явления» ангелов. Псевдо-Дионисий говорил в V веке, что только невежды полагают, будто духи и впрямь подобны крылатым людям.

В изобразительных искусствах эти символы постепенно вырождались. У ангелов Фра Анджелико — и в позе, и на лице — мы видим мир и силу небес. Позже, у Рафаэля, появляются упитанные дети, и наконец — слащавые, слезливые, хилые ангелочки прошлого века, чахлые гурии викторианского рая, настолько похожие на барышень, что только постный вид спасает их от фривольной пошлости. Вот этот символ — очень вредный. В Писании увидеть ангела — страшно; ему приходится говорить: «Не бойся». Ангелочек выглядит так, будто сейчас скажет: «Ну-ну-ну!..»

Литературные символы опасней — труднее понять, что это символ. Лучше всего они у Данте. Перед ангелами мы благоговеино трепещем. Бесы, как заметил Рескин, так злы, наглы и бесстыжи, что, наверное, гораз-

до больше похожи на настоящих, чем демоны у Мильтона, которые так величественны и романтичны, что вводят в большой соблазн (ангелы у Мильтона обязаны слишком многим Гомеру и Рафаэлю). Но самый вредоносный из всех — Мефистофель у Гёте. Ту серьезную, неустанную, беспокойную сосредоточенность на себе, которая и есть знак ада, являет совсем не он, а Фауст. Остроумный, разумный, вежливый, легкий Мефистофель помог утвердиться иллюзии, что зло освобождает.

Иногда обычный человек избегает ошибки, которую совершил великий, и я твердо решил писать так, чтобы мои символы не съехали хотя бы в эту сторону. Юмор дает возможность взглянуть на самого себя. Что бы ни приписывали мы существам, чей грех — гордыня, юмора у них быть не может. Сатана, говорит Честертон, пал от собственной тяжести. Мы должны изображать ад как место, где все носятся со своим достоинством, все важны, неприветливы и всех терзают невеселые страсти — зависть, самолюбие, досада. Это общее; а остальное, на мой взгляд, зависит от века и от характера.

Я люблю летучих мышей куда больше, чем бюрократов. Живу я в административном веке. Самое большое зло творят теперь не в мрачных притонах и вертепах, которые описывал Диккенс, даже не в концлагерях — там мы видим результаты. Его зачинают и рождают (предлагают, поддерживают, разрабатывают) в чистых, теплых, светлых кабинетах аккуратные, чисто выбритые люди, которым и голос повышать не надо. Поэтому мой ад похож на учреждение полицейского государства или на деловое предприятие.

Мильтон говорит, что «дьявол с дьяволом держит союз». Но как? Не дружат же они! Существо, способное к дружбе, не дьявол. Мой символ помог мне и здесь. Земной его прообраз показал мне, что официальное сообщество может держаться только страхом и корыстью. На поверхности все гладко. Грубить высшим слишком опасно; если нагрубить равным, они насторожатся, когда вы еще не готовы к нападению. Ведь принцип всей организации — «пес ест псов». Каждый только и думает, как бы подсидеть другого, оболгать, обличить, погубить; каждый умеет ударить в спину, вежли-

во осклабясь. Прекрасные манеры, участливая мина, услуги и улыбки — тонкая корочка. Время от времени она лопается — и вырывается лава злобы.

Символ помогает мне и развеять нелепую фантазию, будто бесы с истинным бескорыстием стремятся к Злу (непременно с большой буквы). Плохие ангелы, как и плохие люди, исключительно практичны. Мотива у них два. Во-первых, они боятся наказания; в тоталитарном государстве есть лагеря, а в моем аду есть «исправительные дома». Во-вторых, они как бы голодны. Я выдумал, что бесы едят (в духовном смысле) и друг друга, и нас. Даже здесь, на земле, мы видели, как стремятся некоторые пожрать, переварить другого; сделать так, чтобы он думал их мыслями, чувствовал их чувствами, ненавидел их ненавистью, досадовал их досадой, а они тешили через него свое себялюбие. Конечно, он обязан убрать куда-нибудь свои страстишки. Не хочет? Нет, какой эгоизм!

Здесь, на земле, это нередко называют любовью. Я придумал, что в аду это называют голодом. Только там голод сильнее, на-

сыщение — полнее. Тело не мешает, и более сильный бес (он — дух) может просто всосать, вобрать другого, а потом подпитываться порабожденным собратом. Вот для чего (придумал я) нужны им человеческие души и другие бесы. Вот почему Сатана хотел бы заполучить всех детей Евы и все воинства небесные. Он мечтает о дне и часе, когда поглотит все и сказать «я» можно будет только через него. Этот мерзкий паук — его извод, его версия той безграничной щедрости, с какой Бог обращает орудия в слуг, а слуг — в сынов, чтобы они смогли в конце концов соединиться с Ним в совершенной любви, ибо Он дал им свободу быть личностью.

Однако, как в сказке братьев Гримм, «это мне только приснилось». Это символ, миф. Поэтому для тех, кто читает «Баламута», не так уж важно, что я думаю о бесах. Те, кто в них верит, примут мой символ как реальность; те, кто не верит, — как олицетворение понятий, и книга будет аллегорией. Но это почти безразлично. Я хотел не гадать о жизни бесов, а увидеть под новым углом человеческую жизнь.

Мне сказали, что я не первый на этом поприще, в XVII веке писали письма от лица